

however, are concerned with language standardization and have in common the three assumptions that man can deliberately influence the development of language, that therefore a choice has to be made between various courses and that the chances of success of a particular choice are greater if it is based on a scientific theory and is made in the light of all available data.

In their LP Soviet linguists have paid attention to the attitudes of Russian speakers to their own language. The prestige of a particular variant has been an important, though not the only factor in codification of the norm. Other factors are the frequency and prospects of survival of a variant, and which social group uses a particular variant. LP has been evident in establishing the orthoepic and orthographical norms of CSR. Though the OMN continues to have high prestige it is gradually disappearing before the modern "spelling-oriented" pronunciation. Consultation with the public was carried out in the work of the project *Russkij jazyk i sovetskoe obščestvo*.

Since the Revolution a new literate class has supplanted the old upper class as arbiter of linguistic norms. The prestige of pre-Revolutionary norms can still be seen, in for instance, the preservation of certain indeclinables (кино, депо, пальто, etc.), which phenomenon has even led to the sub-standard extension of indeclinability to other nouns. The author envisages the possibility that nouns such as директор, профессор may, like товарищ, enter the class of indeclinables when referring to women.

Changes which the author discusses show that LP sometimes does affect linguistic change but sometimes does not, for LP is only one of the social factors operative. LP may lead to unplanned linguistic change, giving rise to new LP problems.

The low tolerance of non-standard varieties by the Russian speech community is explained by the author as the outcome of the fact that in the early Soviet period non-standard speech and illiteracy were closely connected: non-standard still has the aura of *negramotnost'*.

The large number of KR publications indicates a pre-occupation with prediction and control of language change, though in practice Russian LP seems to be largely pragmatic. (*Dennis Ward*).

5. Poetics

Успенский, Б. А.: *К поэтике Хлебникова: проблемы композиции*. – Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973, 122–7.

Случаи аграмматичности, "бессвязности" у Хлебникова рассматри-

ваются в терминах “композиции”, понимаемой как организация повествовательной перспективы, точек зрения – проблема, разрабатывавшаяся У. в отдельной книге (1970), но преимущественно на прозаическом материале или для несловесных искусств. Таким образом получают убедительное объяснение случаи казалось бы немотивированных колебаний местоимений, грамматического времени и т.п. Главное внимание уделено местоимению, т.е. сменам лица в пределах одного текста, они трактуются как смена точки зрения, как смена реплики, речь другого “говорящего”, причем эта смена не имеет иных формальных показателей, кроме смены лица. Между прочим, указываются новые примеры уже отмечавшейся У. (1970) закономерности – смена точки зрения как приём выделения рамки. Некоторые из наблюдений У. над стихотворением “Конь Пржевальского” совпадают с анализом К. Поморской (Поморска, 1968, 102–3), ее соображения и связанные с ними наблюдения Х. Барана (1973) позволяют говорить о некоторых коррелятах этих явлений на других уровнях: “сдвиги персонажей”, совмещение нескольких персонажей в один – всё это явно соотносимо с планом содержания категории точки зрения. У. показывает, что подобная композиция является существенным и едва ли не регулярным приёмом организации текста у Хлебникова, и тем самым дает ключ для чтения многих стихотворений. Эти наблюдения очень существенны для понимания синтаксиса Хлебникова и проблем связности текста. Здесь “нарушаются нормальные условия связности текста. Само нарушение этих условий является признаком изменения точки зрения (динамики авторской позиции)” (126). Таким образом вновь подтверждается мысль Вяч. Вс. Иванова (1967, 170) о том, что “по дурной традиции упоминаемая малопонятность многих вещей Хлебникова при ближайшем рассмотрении оказывается глубочайшим заблуждением критиков”. (Г. А. Левинтон)

ЛИТЕРАТУРА

- Baran, H.: 1973, *Xlebnikov and the mythology of the Oroches*. – Slavic poetics. Essays in honor of K. Taranovsky, The Hague.
- Иванов, Вяч. Вс.: 1967, Структура стихотворения Хлебникова “Меня проносят на слоновых” – Труды по знаковым системам. Тарту.
- Pomorska, K.: 1968. *Russian formalists theory and its poetic ambiance*, The Hague.
- Успенский, Б. А.: 1970, *Поэтика композиции*, М.

Левин, Ю. И.: *Лирика с коммуникативной точки зрения – Structure of texts and semiotics of culture, The Hague 1973, 177–195* (Сокращенный вариант: Коммуникативный статус лирического стихотворения. Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973, 105–109).

Проблема, определенная заглавием статьи, чрезвычайно важна; в частности, можно было бы предложить интересный способ описания лирического стихотворения – в терминах шести функций Р. О. Якобсона. Из этих функций Л. рассматривает собственно только эмотивную и конативную, т.е. категорию лица в стихотворении. Вводятся признаки эготивности (эксплицированность 1 лица) и апеллятивности (эксплицированность 2 лица), на наш взгляд, совпадающие с названными функциями. Дается исчисление возможных соотношений лиц в тексте, причем лица рассматриваются не только формально, но классифицируются: 1. – собственное, чужое, обобщенное, 2. – собственное, несобственное, обобщенное, автокоммуникативное. Всего возможно девять соотношений лиц, каждое из них экзemplифицировано (исследование проведено на материале 11 русских поэтов XIX–XX вв.).

Работа может иметь большое значение, в частности, для исследования местоимений (ср. в этой связи интересные соображения Т. И. Сильман о местоимениях в прозе и в поэтическом цикле, 1970), кажется верным и выбранный подход (ср. различие моделей лица у Якобсона и Куриловича, определенное, в первую очередь, различием представлений о речевом акте – диалогического в первом случае и монологического, с говорящим в “начале координат” – во втором). Сильной стороной работы является само исчисление; соображения о связи с семантикой текста очень интересны и правдоподобны, но хотелось бы видеть более эксплицитную аргументацию. Соображения о роли читателя, его отношении и “участии” в текстах разных “коммуникативных типов” уже менее правдоподобны (впрочем, может быть, есть смысл считать предположения Л. заключениями “здравого смысла”, точкой отсчета, quasi-правилом, которое либо выполняется, либо не выполняется в конкретном тексте, но невыполнение – значимо). Наконец, из общих вопросов – естественно желание читателя увидеть здесь же и соображения о фатической функции (ср. замечание об автокоммуникативности пушкинского “Не пой, красавица” – адресат, возможно, не понимает по-русски, 189).

Из частных: замечание о колебаниях между *я* собств. и *я* чуж. (“лучше б мне частушки задорно выкликать”, 183) заставляет думать о термине *сказ* применительно к стихотворному тексту.

К соображениям о роли формальных местоимений (“скажу *меж нами*”, “глаза Олениной *моей*”, 186) – ср., м.б., аналогичные факты вне поэтического языка в болгарском (*ми, ти*). Неясно, с какой *исповедью* сравнивает Л. тексты с *Я* собств. и невыраженным 2-м лицом (187): исповедь имеет адресата (исповедника), речь может идти либо о литературном жанре исповеди, либо о публичной исповеди ранних христиан. Один анекдотический пример: говоря о колебании читателя между самоотождествлением с адресатом и адресантом (192), Л. не замечает, что в примере из Пастернака: “О, женщина, твой вид и взгляд” – такое самоотождествление детерминировано *полом* читателя (может быть, этот случай и показывает, насколько вообще необязательны подобные соображения о читательском восприятии). (Г. И. Левинтон)

ЛИТЕРАТУРА

Сильман, Т. И.: 1970, *Синтактико-стилистические особенности местоимений*. – Вопросы языкознания, № 4, стр. 81–91.

Ревзина, О. Г.: *Грамматические ошибки Блока*. – Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973, 157–162.

В статье рассмотрены отступления от пуристической грамматичности у Блока, связанные с нарушением слабого управления (в соответствии с наблюдением И. И. Ревзина, отмечавшего, что в стихотворной речи разрешаются нарушения только слабого управления), причем эти нарушения семантически интерпретируются в контексте стихотворения (например, замена периферийных падежей на центральные для того, чтобы “сблизить действие и объект, подчеркнуть значимость объекта, передвинув его из периферийной позиции в центр”, 160). Отметим такие наблюдения, как: *цветок роняет на полу* = контаминация *ронять на пол* и *лежать на полу* (совмещение действия и результата, “проследив мысленно за падением цветка, мы уже видим его на полу”, 161). И замена падежей и замена предлогов связаны с “усилением, т.е. более интенсивным выражением смысла в пределах тех возможностей, которые ему дает грамматика языка” (162). Случай с заменой предлога *на* на *в*: “*спишь, Равенна, /у сонной вечности в руках*” (по семантическим причинам – “вечность есть объемлющий образ по отношению к Равенне” – выбран предлог, указывающий на полное включение, 161) находит интересное подтверждение: цитирующий эту строку Мандельштам, при замене существительного (отчего исчезает нарушение), сохраняет предлог: “*Большая вселенная в люльке/У маленькой веч-*

ности *спит*". Рассмотрены также случаи этимологической фигуры, в т.ч. "творительные усиления": *истомил истомой* (162); интересно, что подобная фигура появляется у Ахматовой в контексте, безусловно связанном с Блоком: "За такой Чингиз *послал посла/И* такая на кровавом блюде/Голову Крестителя несла", ср. у Блока: "На поле Куликовом" (тематически) и "Таясь, проходит Саломея/С моей кровавой головой", "Вот голову его на блюде/Царю плясунья подает".

(Г. А. Левинтон)

Минц, З. Г.: *Понятие текста и символистская эстетика*. – Материалы всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам, I (V). Тарту, 1974, 134–141.

Минц, З. Г. и Лотман, Ю. М.: *Индивидуальный творческий путь и типология культурных кодов*. – Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973, 96–98.

Обе работы связаны с кругом культурологических проблем, с проблемой текста и культуры и другими чисто экстралингвистическими сторонами изучения текста. Тем не менее, хочется обратить на них внимание читателей журнала и указать на некоторые лингвистические аспекты этих работ. Обе они связаны с прагматикой текстов и затрагивают такие проблемы как соотношение языка с другими моделирующими системами в культуре (что традиционно относится к ведению лингвистики, ср., например, работы Бенвениста, Якобсона и др.).

В первой работе для нас важна проблема отношения текстов на естественном языке к невербальным текстам. М. показывает как в культуре символизма коррелируют, взаимоориентируются, цитируют друг друга "текст искусства" и "текст поведения" (причем текст искусства реализуется в аллотекстах – отдельных произведениях). К этой проблематике ср. ряд недавних работ Ю. М. Лотмана, в которых рассматриваются влияние *текстов* (сюжетов, мифов, т.е., в частности, и вербальных текстов) на поведение, "цитатное" и "архетипическое" поведение и т.п. (ср., в частности, работы его и Б. А. Успенского во втором из названных сборников).

Вторая работа рассматривает один из самых интересных и малоисследованных феноменов культуры, который Якобсон определил как "интрасемиотическую транспозицию". Речь в данном случае идет о том культурном коде, который определяет словесные тексты. Так, в эволюции Блока усматривается чередование таких определяющих

кодов – от ориентации на словесные тексты (миф, поэтические тексты) к ориентации на театр, на прозу (роман XIX в.), изобразительные искусства (живопись, архитектура), музыку, кинематограф.

Эти ориентации сменяют друг друга последовательно, таким образом речь идет об организации поэтической биографии: “индивидуальный творческий путь сознательно мыслился Блоком как овладение всем художественным опытом человечества, а поэзия – как изоморфная искусству в его синтетическом единстве” (98) – ср. позицию языка среди других семиотических систем (универсальный интерпретант) по Бенвенисту. Проблема интрасемиотической транспозиции оказывается специфически важной в исследовании цитаты, “подтекста” (ср. соответствующую проблематику в исследовании акмеизма, типа “опера у Мандельштама” и т.п.), чему также посвящен ряд работ тех же авторов.

Оба описанных феномена представляют собой нетривиальный для лингвиста материал и, вероятно, сыграют свою роль в исследовании “*sémiologie de la langue*”. (Г. А. Левинтон)

Коллер, Э.: *О внутренних рифмах у Тютчева и Фета*. – Искусство слова. Сборник статей к 80-летию Д. Д. Благого. М., 1973, 231–239.

Автор в своих теоретических установках следует в основном за В. М. Жирмунским, отступая, впрочем, в самом определении: он называет рифмой только созвучие в конце слова (231), между тем Жирмунский указывает на необходимость учета внутрисловесных рифм (Жирмунский, 1923, 60). В работе нет четкого выделения ни рифм, обусловленных морфологически (можно полагать, что роль морфологии для внутренней рифмы иная, нежели для “краевой”), ни рифм, связанных с фонологической организацией контекста (кроме одного примера, 233), ни разграничения рифм по месту, из-за чего рядом рассматриваются случаи “*То потрясающие звуки/То замирающие вдруг*”; “*И без вою и без бою/Под гигантскою пятою*”; “*И долго слушала – увлечена/Погружена в сознательную думу*” (234), между тем, несмотря на объединяющую эти случаи факультативность рифмы, первый пример относится к категории “вертикальных” связей стиха и должен рассматриваться вместе с анафорой, второй относится к организации одного стиха, а третий должен, видимо, (как и вообще “стык” или “подхват”) рассматриваться в связи с явлением переноса. Понятие *функции* достаточно туманно, и речь идет главным образом о том, что “внутренняя рифма усиливает игривость, шутливость, легкость тона стихотворения” (233),

“оттеняет ощущение неопределенного и ‘невольного’ блаженства” (238) и пр. Удивляют такие места, как причисление к рифмам слов “*припади* и *отдохни*”, а также соображения о “ритмических перебоях насыщенного пиррихиями пятистопного ямба” (который, разумеется, передает какое-то ощущение) в строфе, где, на самом деле, чередуются Я6 и Я5 (235). (Г. А. Левинтон)

Вийтсо, Т.-Р. и Пыльдмяэ, Я.: *О методике составления словаря рифм*. Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973, 163–166.

Статья представляет собой разработку принципов словаря рифм, причем речь идет о тезаурусе, целью которого является построение истории канона рифмы. Авторы полагают, что без такой основы “правильность формулировок оказывается непроверяемой” (позиция, на наш взгляд, излишне ригористическая, вряд ли составление словаря или серии синхронных словарей в корне изменит наше представление об эволюции русской рифмы, хотя, конечно, полезность такой работы – бесспорна). Исходя из этой цели, предлагается строить словарь по типам рифм, на основании их фонологической структуры, снабдив его указателем основ, словоформ, “Содержанием”, включающим перечень всех формул.

Саму классификацию рифм мы не будем здесь рассматривать (в частности, потому, что она экзemplифицирована эстонским, а не русским материалом, хотя, видимо, вполне подходит и к стиху на других языках), так как для этого пришлось бы процитировать эти краткие тезисы почти целиком. (Г. А. Левинтон)

Лекомцева, М. И.: *О метрической организации и рифме в плане содержания поэтического текста*. – Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973, 166–7.

Тезисы содержат крайне интересное предложение об изучении организации семантической стороны текста. Предполагается, что существует определенный изоморфизм низших и высших уровней текста, последние описываются в терминах “семантической метрики”, т.е., упорядоченности семантических ДП. Практически речь идет о возможности описания распределения слов, соотносящихся друг с другом как “синонимы, антонимы, гипонимы и их транзитивные корреляты”

(167), о семантической рифме: точной (построенной на синонимах), или содержащей отличия на один или более признаков. В качестве примера системы, в которой организован только план содержания (наличие семантического метра и рифмы), а план выражения не знает подобных обязательных признаков, приводится древнеегипетская поэзия.

(Г. А. Левинтон)

Bailey, J.: 'The evolution and structure of the Russian iambic pentameter from 1880 to 1922', *IJSLP XVI*, 1973, 119–46.

Русский пятистопный ямб продолжает привлекать интерес исследователей. Автор весьма обстоятельно исследует период, не полностью изученный Тарановским (1953) и Гаспаровым (ВЯ, 1967). Статья содержит ряд новых и, надо сказать, неожиданных наблюдений, ярко характеризующих важный, но “промежуточный” этап в развитии пятистопного ямба.

В исследуемый период цезура становится “анахронизмом” (122) и исчезает к 1910 г. во всех жанрах (136). Автор приписывает авторитету Брюсова большое значение в построении кривой ударений лирического стиха. Типичную для Брюсова “нисходящую” линию ударяемости он находит у таких поэтов, как Гиппиус, Кузмин, Эренбург, Г. Иванов, Городецкий, Багрицкий. В драматическом стихе цезура (в начале исследуемого периода) еще соблюдается перед 5-м слогом, но в дальнейшем заменяется “непостоянной” (movable) цезурой, вероятно под влиянием оригинальных пьес Анненского (127).

Автор прослеживает распространение безударных последних иктов у ряда поэтов (Ничто́жной, же́сткой, по́длой. *Ма́гия...*, Бальмонт; Трудне́йшему и благода́тному, Багрицкий) и стихов, оканчивающихся на проклитику (И мы вассáлы-оборва́нцы – *но́*, Блок; Хотéл помо́чь он Мариáне – *и*, Фофанов). В анакрузе ямбического стиха начинают появляться “недопустимые” слова хорейской структуры (*Гро́хот* молча́нья, без гра́ниц, без ме́р, Брюсов). Появляются также строки с двумя неметрическими ударениями (*Стро́го* держи́сь, *Мно́гие* кавале́ры, Аксенов; *То́лько* че́стным путе́м, сэр. Ва́ше и́мя, он же). Статья содержит хорошую библиографию исследованных поэтических текстов и 9 страниц статистических подсчетов. (а.и.)

Vickery, W. N.: 'On the question of the emergence of the dactylic caesura in the Russian eighteenth-century six-foot iamb', *IJSLP XVI*, 1973, 147–156.

Французский александрийский стих дважды проникал в Россию. Сперва

в XVII в. через Польшу в форме тринадцатисложного стиха с цезурой после 7-го слога, и вторично в XVIII в. в форме шестистопного ямба с цезурой после третьей стопы. По словам Голенищева-Кутузова (Александрыйский стих в России XVIII в., 1966) этот размер находится то под французским, то под немецким влиянием. Автор, однако, призывает к крайней осторожности при рассмотрении вопроса о возможном немецком влиянии на русский шестистопный ямб (149). Наличие большого количества односложных слов в нем. языке обеспечивает большее количество ударных слогов (149), в то время как в русском языке наличие более длинных слов способствует тенденции к ударениям на 1-м, 3-м, 4-м и 6-м иктах (150). Это положение, однако, не доказывается точными подсчетами. По словам автора, последний икт в русском стихе приобретает “ритмическую силу” (rhythmic strength), в то время как в нем. имеются многочисленные строки со слабым ударением на последнем икте: Und Engelscharen sieht er da im Himmelsglanz.

Автор отвергает догадку Голенищева-Кутузова об “итальянском” происхождении дактилических рифм и дактилических цезур, относя последние за счет “общего характера русского языка” с большим количеством “длинных слов” (152). Отсутствие дактилической цезуры в французской поэзии как будто ставит под сомнение близость русского шестистопного ямба к франц. александрийскому стиху. Но и это расхождение автор склонен приписать “общей разнице” между этими двумя языками (156). Вопрос, однако, остается не решенным.

Рассуждения автора свидетельствуют о его знакомстве с литературой. Но разве можно печатать статью по русской метрике XVIII в., не приводя ни единого примера, ни единой строки александрийского стиха? Неудивительно, поэтому, что недоумевающий читатель так и не узнает, что, собственно, следует понимать под термином “дактилическая цезура”. (а.и.)

Smith, G. S.: ‘The contribution of Glück and Paus to the development of Russian versification: the evidence of rhyme and stanza forms’, *SEER* 51, No. 122, Jan. 1973, 22–35.

В 1902 г. В. Н. Перетц в своих “Историко-литературных исследованиях и материалах” обратил внимание на структуру строфы в произведениях Глюка и Паусса, т.к. некоторые из типов строф были позднее использованы Тредиаковским и рядом других поэтов 18 в. Важнейшим новшеством Г. и П. следует считать введение мужской рифмы по немецкому образцу.

Автор доказывает, что до 1735 г. (введение “силлабо-тонического”

принципа) Тредиаковский не применял строф с систематической мужской рифмой (33). Кроме того, в отличие от Г. и П., Тредиаковский не пользовался ямбом в “серьезной” поэзии.

Преимственность между Глюком и Пауссом, с одной, и русскими поэтами 19 в., с другой стороны, является таким образом маловероятной (34–35). (*a.u.*)

Бухштаб, Б. Я.: ‘Об основах и типах русского стиха’, *IJSLP XVI*, 1973, 96–118.

Как это ни парадоксально, но наука пока не располагает аппаратом, позволяющим однозначно определить принцип (или “принципы”), на которых построена русская версификация. Такие школьные понятия, как “стопа”, “силлабо-тонический”, “тонический” и т.п. оказались негодными даже для самой элементарной классификации наблюдаемого материала.

Б. предлагает ввести, наряду с “тоническим” и “силлабическим” принципами, еще третий – “акцентный”, т.е. принцип “урегулированного распределения сильных и слабых слогов в стихе” (104). Ссылаясь на свою статью “О структуре русского классического стиха” (Труды по знаковым системам IV, Тарту 1969, 386–408), Б. пишет, что “классический русский стих [...] имеет две разновидности: полноударную [= все сильные слоги ударяемы] и неполноударную [= часть сильных слогов остается без ударения]” (108). Исходя из сочетаний разных “принципов”, Б. предлагает таблицу, в которой русский классический стих разбивается на шесть групп, причем различаются “двусложники”, “трехсложники”, “вольные” и “урегулированные”, “полноударные” и “неполноударные” стихи (109). Т.о. автор, видимо, отказывается от попытки подвести русское стихосложение под один единый версификационный принцип. Зато Б. весьма убедительно формулирует “основной признак стиха” (правда, не только русского!) как “признак двойной сегментации текста”. Синтаксические отрезки текста в стихе членятся на стихотворные строки “и на более крупные и мелкие, чем строка, стихотворные единства” (110). Там, где второе членение не маркировано (рифмовкой, грамматическими средствами), мы не можем утверждать, что имеем дело со стихами (напр. Слово о полку Игореве) (111).

Ссылаясь на работу Гаспарова “Русский трехударный дольник XX в.”, Б. усматривает и в дольнике “тенденцию к изосиллабизму” (6 слогов от первого до последнего сильного места). Не вполне удачным представляется введение термина “логаэд”, который сам автор относит “к числу наиболее неясных вопросов” (117).

В статье остро и с глубоким знанием дела сформулированы стержневые вопросы русского стихосложения, и в этом ее основная заслуга. Их окончательное решение – дело будущего. (а.и.)

Smith, R. N.: 'The stylistic use of syntactic features in some Russian novels', *Language and Style* VI (1973), 127–34.

Расценивая акт сочинения литературных произведений как процесс последовательного выбора лингвистических элементов в рамках жанровой ограниченности, автор предлагает чисто статистическое исследование “синтаксических признаков” (syntactic features) двух романов, а именно *Рудина* А. С. Тургенева и *Мертвых душ* Н. В. Гоголя. Статистическая совокупность (population), на фоне которой рассматриваются стилевые особенности двух романов, составлялась на материале восьми произведений 1840–1860 гг. известных писателей этого периода (Аксаков, Достоевский, Гончаров, Григорович, Герцен, Лермонтов, Некрасов, Писемский). В качестве рабочего определения индивидуального стиля использовалось два предположения: (1) стиль литературного произведения сводится к множеству его стилистических индексов; (2) под стилистическим индексом подразумевается значимое отклонение от жанровой нормы в использовании литературной переменной (literary variable). Автором было обнаружено, что два исследуемых произведения разнятся друг от друга в использовании некоторых грамматических категорий. Например, в *Рудине* встречается сравнительно высокое число наречий, в то время как в *Мертвых душах* число наречий невелико. В том же духе автор отмечает, что у Тургенева в исследуемом произведении вообще вдвое больше грамматических категорий, чем у Гоголя в *Мертвых душах*. Из этого автор делает вывод, что традиционная оценка критиками-нелингвистами гоголевского стиля как “орнаментального”, а тургеневского как “нейтрального” или “сдержанного” (subdued), явно основана вовсе не на встречаемости разных грамматических категорий, а на функции каких-то других – именно лексических – признаков стилистического порядка. Таким образом, результаты статьи оказываются чисто негативными и, прибавим – абсолютно пустыми. Автор слепо следует положениям ТГ вплоть до ложной характеристики грамматических категорий (падежа, рода, вида и т.д.) как “синтаксических признаков”. О настоящем синтаксисе, т.е. о подлинно интересном и важном вопросе различного использования синтаксических средств в связи с разным стилистическим и жанровым заданием – автор и не упоминает. Что касается правомерности и плодотворности статисти-

ческого подхода к проблемам стиля вообще, то нельзя не примкнуть к позициям выдающегося американского критика Станли Фиша; см. уничтожающую критику “статистической стилистики” в его статье ‘Что такое стилистика и почему о ней говорят такие ужасные вещи?’ (‘What is stylistics and why are they saying such terrible things about it?’, *Approaches to Poetics*, ed. by Seymour Chatman, Columbia University Press, New York, 1973, pp. 109–152). (М. Шаниро)